

СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ

Зона



АЗБУКА-КЛАССИКА

Сергей Довлатов

Зона. Записки надзирателя

«Азбука-Аттикус»

1982

Довлатов С. Д.

Зона. Записки надзирателя / С. Д. Довлатов — «Азбука-Аттикус», 1982

ISBN 978-5-389-06850-6

Довлатовская «Зона» – это четырнадцать эпизодов из жизни зэков и их надзирателей, истории сосуществования людей за колючей проволокой, рассказанные просто и с отрезвляющим юмором, за которым совершенно ясно можно расслышать: «Ад – это мы сами». Содержит нецензурную брань

ISBN 978-5-389-06850-6

© Довлатов С. Д., 1982
© Азбука-Аттикус, 1982

Содержание

Письмо издателю	6
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Сергей Довлатов

Зона. Записки надзирателя

Имена, события, даты – все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны.

Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел – непредвиденным и случайным.

Автор

Публикуется с любезного разрешения Елены и Екатерины Довлатовых

© С. Довлатов (наследники), 1982, 2013

© А. Арьев, послесловие, 2001

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

®Издательство АЗБУКА

Письмо издателю

4 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Дорогой Игорь Маркович!

Рискую обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.

Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года – как можно быстрее.

Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство.

Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.

Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы:

Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта...

Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?

Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. Солженицын был заключенным. Я – надзирателем. По Солженицыну, лагерь – это ад. Я же думаю, что ад – это мы сами...

Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын – великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.

Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.

Это – своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.

Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается обиходный художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея – что мир абсурден...

Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм.

Тогда я попытался навязать им «Зону» в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно. Что публика жаждет романов и эпосов.

Дело осложнилось тем, что «Зона» приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микроплёнку. Куски её мой душеприказчик раздал нескольким отважным французенкам. Им удалось провезти мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе.

В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое.

Местами плёнка испорчена. (Уж не знаю, где её прятали мои благодетельницы.) Некоторые фрагменты утрачены полностью.

Восстановление рукописи с плёнки на бумагу – дело кропотливое. Даже в Америке с её технической мощью это нелегко. И кстати, недешево.

На сегодняшний день восстановлено процентов тридцать.

С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель.

Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями.

Главное – будьте снисходительны. И, как говорил зека Хамраев, отправляясь на мокрое дело, – с Богом!..

Старый Калью Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да маленькие толстые ребятишки.

– В здешних краях должны жить одни эстонцы, – говорил Пахапиль, – и больше никто. Чужим здесь нечего делать...

Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.

Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес.

Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче – жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.

«Зачем эстонцу медаль?» – долго раздумывал Пахапиль.

И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевиотового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз – в магазине Лансмана.

Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.

– Здесь должны жить эстонцы, – сказал он, уходя, – а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место!..

Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.

Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапилю арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.

А затем Пахапилю сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер. Наверное, от голода и чужой земли...

Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллинне, на улице Луизе, и получил диплом радиста.

По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам:

– Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде, и больше нигде...

Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с караульными псами.

Кроме того, в одиночестве – пил, если мешали – дрался. А также допускал – «инциденты женского порядка». (По выражению замполита Хуриева.)

– До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! – осторожно корил его замполит.

Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:

«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».

После некоторого раздумья он всегда добавлял:

«Прошу не отказать».

Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила и рядом – фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал и курил.

– Эстонцы должны жить в Канаде, – тихо бормотал он под мерное гудение насекомых. Они его почему-то не кусали...

Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам – идеологический работник. Было объявлено собрание.

– Заходи в ленкомнату, – прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев.

– Политику не хаваем! – ворчали солдаты.

Однако зашли и расселись.

– Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны, – начал подполковник Мар.

– Стихи, – разочарованно протянул латыш Балодис...

За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.

Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве...

... – В частях Советской Армии развивается благородная традиция, – говорил подполковник Мар.

И дальше:

– Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию – долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом неразрывную связь поколений...

Свинью волокли по шершавой доске. Борты машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.

Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастьян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая...

– Ваша рота дислоцирована напротив кладбища, – тянул подполковник, – и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны. В том числе и орденосцев. Таким образом, создаются все условия для шефства над павшими героями...

Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови...

– Кто здесь Пахапиль?

Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха:

– В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахапиль!

– Кто здесь Пахапиль? – недоверчиво отозвался Мар. – Вы, что ли, Пахапиль?

– Так, – ответил Густав, краснея.

– Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажите о своих достижениях. В дороге набросаем план.

– Я вообще-то эстонец, – начал было Пахапиль.

– Это даже хорошо, – оборвал подполковник, – с точки зрения братского интернационализма...

В штабе было людно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации, толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и дегтем.

Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапилю. На площадке их окружили.

– Знакомьтесь, – гражданским тоном сказал подполковник, – это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шахмаматьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсепян...

«Перкеле, – задумался Густав, – одни жида...»

Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули окурки и зашли в просторный зал...

И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева – президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку – контрабас, из зала он не виден.

Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху. Затем шагнул вперед.

– Я вообще-то эстонец, – начал он.

В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай...

Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме. И то, как ему прикололи значок. (Три непонятных слова, фигура и глобус.) А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапилю... Что-то насчет – подхватить, развивать и стараться... И еще относительно патриотического воспитания... Что-то вроде преемственности и неразрывной связи... С целью шефства над могилами павших героев... Хотя Пахапиль эстонец вследствие братской дружбы между народами...

Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бледными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.

Когда машину тряхнуло на переезде, Густав сказал шоферу:

– Здесь я сойду.

Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.

Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перебрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.

Здесь его карманы тяжело наполнились.

Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва.

Было сыро и тихо. Щebetали листья на ветру.

Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.

После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент.

17 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Если не ошибаюсь, мы познакомились в шестьдесят четвертом году. То есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами.

Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился.

Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись. Но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными.

Сиротского комплекса у меня не возникло. Скорее – наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте.

Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев. (Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным.) То есть использовал все преимущества любимого сына. Избегая при этом репутации благополучного мальчика.

Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно. Это естественно. Ведь только явные сбережения дают хороший процент.

У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию.

Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.

Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье.

Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы. Разве что на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства.

Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия. Дальше все пошло хуже. Несчастливая любовь, долги, женитьба... И как завершение всего этого – лагерная охрана.

Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.

То, что я увидел, совершенно меня потрясло.

Есть такой классический сюжет. Нищий мальчик заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели – разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.

В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.

Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить.

Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное, как сырость.

Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.

Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рапилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.

В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.

Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.

Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости – оставалось неизменным.

В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.

Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.

Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились – еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное – нереальным.

Открытие из дома вызывало потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф.

На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнялись к россыпям алмазов.

Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего.

Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.

Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами...

Я вспоминаю такой эпизод. Заключение рыли траншеей под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.

Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха.

Его окружили притихшие зеки.

Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка – девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав.

На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:

– Сеанс!..

Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже шире – всякого рода положительное чувственное ощущение. Женица в зоне – сеанс. Порнографическая фотография – сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде – это тоже сеанс.

– Сеанс! – повторил Енин.

И окружавшие его зеки дружно подтвердили:

– Сеанс!..

Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил – не чаще.

Будет время, расскажу об этом подробнее...

Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок.

Р. 5. В нашей русской колонии попадают чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!

Чуть левее, на телефонной будке:

*ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО.
СПРОСИТЬ АРИКА...*

Когда-то Мишук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. При том что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.

Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мишук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.

Мишuku долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:

- Тебя ждут «вилы»... Тебя ждут «вилы»...
- Вас понял, вас понял, – ответил Мишук.

Затем он без сожаления выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи.

Но вот когда Мишук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:

- Малыш испекся, наматывается трояк...

Мишука направили в ИТК-5. Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мишук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве.

- СВП, – шипели зеки, – сука выпрашивает половинку!

Мишук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху – Пупс.

– Ну и прозвище у вас, – говорил ему зека Лейбович, – назвались бы Королем. Или же – Бонапартом.

Тут вмешивался начитанный «кукольник» Адам:

- По-вашему, Бонапарт – это что? По-вашему, Бонапарт – это должность?
- Вроде, – мирно соглашался Лейбович, – типа князя...
- Легко сказать – Бонапарт, – возражал Мишук, – а если я не похож?!

В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.

Рано утром солнце появлялось из-за барачков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.

Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.

Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек – сухое поле незадавшейся жизни...

- И что вы себе мыслите – делает прокурор? – говорил Адам.
- Прокурор так делает выводы, – откликнулся зека Лейбович.

Конвой дремал у забора. Так было каждый день.

Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.

- Турбовинтовой МИ-6, – заметил Пупс, вставая. – Е-ё! – лениво крикнул он.

Затем скрестил над головой руки. Затем растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.

- О-ё-ё! – крикнул Пупс.

И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И потомственный «ско-
карь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам.
И даже фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить...

Вертолет шел на посадку.

– Чудеса, – первым констатировал Адам.

– Чтоб я так жил! – воскликнул Лейбович.

– зуб даю, – коротко поклялся Чалый.

– Сеанс, – одобрительно заметил Мурашка.

– Феноменально, – произнес Белуга, – итс вандерфул!

– Не положено, – забеспокоился конвоир, ефрейтор Дзавашвили.

– Зафлюгировал винт! – надсаживаясь, кричал Мищук. – Скинул обороты! О-ё-ё...

(Непечатное, непечатное, непечатное...)

Куры разбежались. Ромашки пригнулись к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отво-
рилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони – само-
надежный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.

– До чего ты худой, – сказал Маркони.

Затем они час хлопали друг друга по животу.

– Как там Вадя? – спрашивал Мищук. – Как там Жора?

– Вадя киряет. Жора переучивается на «ТУ». Ему командировки опротивели.

– Ну, а ты, старый пес?

– Женился, – трагически произнес Маркони, опустив голову.

– Я ее знаю?

– Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял...

– А помнишь вальдшнепную тягу на Ладого?

– Конечно помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?

– А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, пять месяцев и шестнадцать дней?

– Ох и напьемся... Это будет посильнее, чем «Фауст» Гете...

– Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги...

– Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком.

– Естественно, – согласился Мищук.

Помолчав, он добавил:

– Зря я тогда пристегнул этот шелк.

– Есть разные мнения, – последовал корректный ответ.

– Мне-то что, – сказал ефрейтор Дзавашвили, – режим не предусматривает...

– Ясно, – сказал Маркони, – узнаю восточное гостеприимство... Денег оставить?

– Деньги иметь не положено, – сказал Мищук.

– Ясно, – сказал Маркони, – значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф,
часы и зажигалку.

– Мерси, – ответил бывший пилот.

– Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине.

– Запрещено, – сказал Мищук, – у нас единая форма.

– У нас тоже, – сказал Маркони, – ясно... Ну, мне пора.

Он повернулся к Дзавашвили:

– Возьмите три рубля, ефрейтор. Каждому по способностям...

– Запрещено, – сказал конвоир, – мы на довольствии.

– Прощайте, – сунул ему руку Маркони.

И взошел по трапу.

Мищук улыбался.

– Мы еще полетим, – крикнул он, – мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!

– В элементе, – подтвердил Мурашка.

– Зуб даю, – однообразно высказался Чалый.

– Оковы тяжкие падут! – закричал фарцовщик Белуга.

– Жизнь продолжается, даже когда ее, в сущности, нет, – философски заметил Адам.

– Вы можете хохотать, – застенчиво произнес Лейбович, – но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно...

Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.

Мишуку освободили через три года, по звонку. Покрышев к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мишуку не допустили. Помешала судимость.

Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем...

А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры...

23 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Спасибо за письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.

Отвечаю на вопросы.

«Кукольник» по-лагерному – аферист. «Кукла» – афера.

«Скокар» означает – грабитель. «Скок» – грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.

Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.

Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.

Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:

«Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пули...»

Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик – голодные, униженные, измученные страхом.

Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.

Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.

Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали.

Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитная реакция.

Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт. Причем в художественной форме:

«Птицы замерзли на лету...»

Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно.

Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.

Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.

Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска – все становилось материалом неумолимого сознания.

Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной.

Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова...

Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко.

Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального...

Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.

Это были своеобразные люди.

Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами...

Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.

Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.

В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим.

Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.

На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге.

Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи. Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщовую лохань. И даже когда заключенные около лесобиржи сломали ему ребро.

Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах. С военнотружениками, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей деготь. Или с вольными лагерными работягами, еще за Котласом прокутившими гражданское тряпье.

Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО...

В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников в офицерских шинелях. И на самих офицеров. И даже на Воликова с Пахапилем.

Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольеров – было небезопасно.

Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях. Играть в домино под хриплые звуки репродуктора. Или, наконец, осваивать ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов.

В казарме его уважали, хоть и считали чужим. А может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское почтение к иностранцам? Почтение без особой любви...

Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять...

Раз Алиханова вызвал капитан Прищепа. Это было в конце декабря.

Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:

– Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка – это неминуемое чепе... Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние... Поговори с Балодисом, Воликовым... Ну и, конечно, с Петровым. Главный тезис – пей, но знай меру. Вообще не пить – это слишком. Это, как говорится, антимарксистская утопия. Но свою меру знай... Зона рядом, личное оружие, сам понимаешь...

В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли – Фидель. Эту кличку ефрейтор получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия. Он велел назвать фамилии членов Политбюро. Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя Кастро...

Алиханов заговорил с ним, ловко копируя украинский выговор Прищепы:

– Скоро Новый год. Устранить или даже отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится пьянка. И произойдет неминуемое чепе. В общем, пей, Фидель, но знай меру...

– Я меру знаю, – сказал Фидель, подтягивая брюки, – кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь... А твой Прищепа – гондовня и фрайер. Он думает – праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть «капуста» – гудим. А без «капусты» что за праздник?! И вообще, тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря секануть... Давай скорее, я тебя жду... Ну и погодка! Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать...

Алиханов направился к покосившейся будке. Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический росчерк Потапа Якимовича из Белоруссии.

Через минуту они шли рядом по ледяной тропинке.

– Наступит дембель, – мечтал Фидель, – приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский бухар...

Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали желтые опилки.

Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Мелешко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.

– Кругом! – закричал ему старшина Евченко, тоже хмельной. – Кругом! Сержант Мелешко – кру-у-гом! Головной убор – на месте!..

Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием.

На кухне уже пили водку. Ее черпали алюминиевыми кружками прямо из борщовой лохани. Ленька Матыцын затянул старый вохровский гимн:

Хотят ли цирики войны?..
Ответ готов у старшины,
Который пропил все, что мог,

От португеи до сапог.

Ответ готов у тех солдат,
Что в доску пьяные лежат,
И сами вы понять должны,
Хотят ли цирики войны...

Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе был заметно оттянут.

Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме.

Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли.

– До Нового года еще шесть часов, – отметил замполит, – а вы уже пьяные как свиньи.

– Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, – сказал Фидель.

У замполита было гордое красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили...

– Товарищи, – сказал Хуриев, – нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин...

– А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда – Лопатин, Лопатин... Ну, я Лопатин, – басом произнес Андрей Лопатин.

– Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны...

«Политработа должна быть конкретной». Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре.

– Ты понял, Лопатин?

Лопатин подумал и громко сказал:

– Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом!..

Алиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки и забрался наверх.

На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил:

– Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился... Молитву сам придумал. Изложить?

– Ну, – произнес Алиханов.

Фидель поднял глаза и начал:

– Милый Бог! Надеюсь, Ты видишь этот бардак?! Надеюсь, Ты понял, что значит вохра?! Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса...

Милый Бог! За что Ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью... И то не каждый день...

Милый Бог! Совесть есть у Тебя или нет? Если Ты не фрайер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски... Как ты думаешь, Бог есть?

– Маловероятно, – сказал Алиханов.

– А я думаю, что пока все о'кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить...

Фидель склонился к Алиханову и тихо произнес:

– Мне в рай попасть охота. Я еще со Дня Конституции такую цель поставил.

– Попадешь, – заверил его Алиханов, – в охране у тебя не много конкурентов.

– Я и то думаю, – согласился Фидель, – публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы... Какой уж там рай... Таких и в дисбат не примут... А я на этом фоне, может, и проскочу как беспартийный...

...К десяти часам перепила вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их.

По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары.

Двоих уже связали телефонным проводом. Их уложили в сушилке на груди тулупов.

В ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась «Тигр идет». Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес:

– Тигр идет!

Участники игры залезли под стол.

– Отставить! – скомандовал Кунин.

Участники вылезли из-под стола. Снова выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал:

– Тигр идет!

И все опять залезли под стол.

– Отставить! – скомандовал Кунин...

На этот раз кто-то остался под столом. Затем – второй и третий. Затем надломился сам Кунин. Он уже не мог произнести: «Тигр идет!» Он дремал, положив голову на кумачовую скатерть...

Около двенадцати прибежал инструктор Воликов с криком:

– Охрана, в ружье!

Его окружили.

– На питомнике девка кирная лежит, – объяснил инструктор, – может, с высылки забрела...

В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом – проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными...

Парни толпились возле инструктора.

– У Дзавашвили есть гандон, – сказал Матыцын, – я видел.

– Один? – спросил Фидель.

– Тоже мне, доцент! – рассердился Воликов. – Личный гандон ему подавай! Будешь на очереди...

– Банальный гандон не поможет, – уверял Матыцын, – знаю я этих, с высылки... У них там гонокки, как псы... Вот если бы из нержавеющей стали...

Алиханов лежал и думал, какие гнусные лица у его сослуживцев.

«Боже, куда я попал?!» – думал он.

– Урки, за мной! – крикнул Воликов.

– Люди вы или животные?! – произнес Алиханов. Он прыгнул вниз. – Попретесь целым взводом к этой грязной бабе?!

– Политику не хаваем! – остановил его Фидель.

Он успел переодеться в диагональную гимнастерку.

– Ты же в рай собирался?

– Мне и в аду не худо, – сказал Фидель.

Алиханов стоял в дверном проеме.

– Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже зеков!.. Что, не так?!.

– Не возникай, – сказал Фидель, – чего ты разорался?!. И помни, в народе меня зовут – отважным...

– Кончайте базарить, – сказал верзила Герасимчук.

И вышел, задев Алиханова плечом. За ним потянулись остальные.

Алиханов выругался, залез под одеяло и раскрыл книгу Мирошниченко «Тучи над Брянском»...

Латыш Балодис разувался, сидя на питьевом котле. Балодис монотонно дергал себя за ногу. И при этом всякий раз бился головой об угол железной кровати.

Балодис служил поваром. Главной его заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джем и мука. Ключи Балодис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала ключи и воровала продукты. Даже мука была съедена...

– А я не пошел, – гордо сказал Балодис.

– Почему? – Алиханов захлопнул книгу.

– У меня под Ригой дорогая есть. Не веришь? Анеле зовут. Любит меня – страшно.

– А ты?

– И я ее уважаю.

– За что же ты ее уважаешь? – спросил Алиханов.

– То есть как?

– Что тебя в ней привлекает? Я говорю, отчего ты полюбил именно ее, эту Анеле?

Балодис подумал и сказал:

– Не могу же я любить всех баб под Ригой...

Читать Алиханов не мог. Заснуть ему не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть.

Пробило двенадцать, в казарме уже спали. Так начался год.

Алиханов поднялся и выключил репродуктор...

Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов был уверен, что они начнут делиться впечатлениями. Но они молча легли.

Глаза Алиханова привыкли к темноте. Окружающий мир был знаком и противен. Сви-сающие темные одеяла. Ряды обернутых портянками сапог. Лозунги и плакаты на стенах.

Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее, старается не думать об этой женщине.

Не задавая себе вопросов, Борис оделся. Он натянул брюки и гимнастерку. Захватил в сушилке полушубок. Затем, прикурив у дневального, вышел на крыльцо.

Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертание сужающегося к горизонту леса.

Алиханов миновал заснеженный плац. Дальше начинался питомник. За оградой хрипло лаяли собаки на блокпостах.

Борис пересек заброшенную железнодорожную ветку и направился к магазину.

Магазин был закрыт. Но рядом жила продавщица Тонечка с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы.

Алиханов шел на свет в полузанесенном окне.

Затем постучал, и дверь отворилась. Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного танго. Алиханов, шурясь от света, вошел. Сбоку косо возвышалась елка, украшенная мандаринами и продуктовыми этикетками.

– Пей! – сказал электромонтер.

Он подвинул надзирателю фужер и тарелку с дрогнувшим холодцом.

– Пей, душегуб! Закусывай, сучья твоя порода!

Электромонтер положил голову на клеенку, видимо совершенно обессилен.

– Премного благодарен, – сказал Алиханов.

Через пять минут Тонечка сунула ему бутылку вина, обернутую клубной афишей.

Он вышел. Грохнула дверь за спиной. Мгновенно исчезла с забора нелепая, длинная тень Алиханова. И вновь темнота упала под ноги.

Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша.

Когда Борис снова шел мимо вольеров, псы опять зарычали.

На питомнике было тесно. В одной комнате жили инструкторы. Там висели диаграммы, графики, учебные планы, мерцала шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены фотографии кинозвезд из журнала «Советский экран». Кинозвезды улыбались, чуть разомкнув губы.

Борис остановился на пороге второй комнаты. Там на груди дрессировочных костюмов лежала женщина. Ее фиолетовое платье было глухо застегнуто. При этом оно задралось до бедер. А чулки были спущены до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней. Алиханов подошел ближе, нагнулся.

– Девушка, – сказал он.

Бутылка «Пино-гри» торчала у него из кармана.

– Ой, да ну иди ты! – Женщина беспокойно заворочалась в полусне.

– Сейчас, сейчас, все будет нормально, – шептал Алиханов, – все будет о'кей...

Борис прикрыл настольную лампу обрывком служебной инструкции. Припомнил, что обоих инструкторов нет. Один ночует в казарме. Второй ушел на лыжах к переезду, где работает знакомая телефонистка...

Дрожащими руками он сорвал красную пробку. Начал пить из горлышка. Затем резко обернулся – вино пролилось на гимнастерку. Женщина лежала с открытыми глазами. Ее лицо выражало чрезвычайную сосредоточенность. Несколько секунд молчали оба.

– Это что? – спросила женщина.

В голосе ее звучало кокетство, подавляемое нетрезвой дремотой.

– «Пино-гри», – сказал Алиханов.

– Чего? – удивилась женщина.

– «Пино-гри», розовое крепкое, – добросовестно ответил надзиратель, исследуя винную этикетку.

– Один говорил тут – пожрать захвачу...

– У меня нет, – растерялся Алиханов, – но я добуду... Как вас зовут?

– По-разному... Мамаша Лялей называла.

Женщина одернула платье.

– Чулок у меня все отстЯгивается. Я его застЯгиваю, а он все отстЯгивается да отстЯгивается... Ты чего?

Алиханов шагнул, наклонился, содрогаясь от запаха мокрых тряпок, водки и лосьона.

– Все нормально, – сказал он.

Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.

– Ах ты, сволочь! – последнее, что услышал надзиратель...

Он сидел в канцелярии, не зажигая лампы. Потом выпрямился, уронив руки. Звякнули пуговицы на манжетах.

– Господи, куда я попал, – выговорил Алиханов, – куда я попал?! И чем все это кончится?!.

Невнятные ускользающие воспоминания коснулись Алиханова.

...Зимний сквер, высокие квадратные дома. Несколько школьников окружили ябеду Вову Машбица. У Вовы испуганное лицо, нелепая шапка, рейтузы...

Кока Дементьев вырывает у него из рук серый мешочек. Вытряхивает на снег галоши. Потом, изнемогая от смеха, мочится... Школьники хватают Вову, держат его за плечи... Суют голову в потемневший мешок... Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно...

Школьники хохочут. Среди других – Боря Алиханов, звеньевой и отличник...

...Галоши еще лежат на снегу, такие черные и блестящие. Но уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря за Коктебелем. На веревках сушатся голубые джинсы. В сумерках танцуют несколько пар. На песке стоит маленький черный и блестящий транзистор.

Борис прижимает к себе Галю Водяницкую. На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара. Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной площадки. Там, где место для судей. В его руке белеет свернутая газета.

Галя – студентка индонезийского отделения. Она шепотом произносит непонятные Алиханову индонезийские слова. Он, тоже шепотом, повторяет за ней:

– Кером даш ахнан... Кером ланав...

Галя прижимается к нему еще теснее.

– Ты можешь не задавать вопросов? – говорит Алиханов. – Дай руку!

Они почти бегут с горы, исчезают в кустах. Наверху – бесформенный силуэт аспиранта Водяницкого. Потом – его растерянный окрик:

– Э, э?!.

Воспоминания Алиханова стали еще менее отчетливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие светящиеся точки. Похищенные у отца серебряные монеты... Растоптанные очки после драки на углу Литейного и Кировской... И брошка, ослепительная желтая брошка в грубом, анодированном корпусе.

Затем Алиханов снова увидел квадрат волейбольной площадки, белеющий на фоне травы. Но теперь он был собой, и женщиной в мокром купальнике, и любимым посторонним. И даже хмурым аспирантом с газетой в руке...

Что-то неясное происходило с Алихановым. Он перестал узнавать действительность. Все близкое, существенное, казавшееся делом его рук, представлялось теперь отдаленным, невнятным и малозначительным. Мир сузился до размеров телеэкрана в чужом жилище.

Алиханов перестал негодовать и радоваться. Он был убежден, что перемена в мире, а не в его душе.

Ощущение тревоги прошло. Алиханов бездумно выдвинул ящик письменного стола. Обнаружил там хлебные корки, моток изоляционной ленты, пачку ванильных сухарей. Затем – мятые погоны с дырочками от эмблем. Две разбитые елочные игрушки. Гибкую коленкоровую тетрадь с наполовину вырванными листами. Наконец – карандаш.

И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы. Услышал доверенное танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток. Вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми, тугими лямками...

Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной руке. Затем крупным почерком вывел на листе из тетради:

«Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово в таинственный и смутный знак...»

За окном начиналась метель. Белые хлопья косо падали на стекло из темноты.

– Летом так просто казаться влюбленным, – шептал надзиратель.

Полусонный ефрейтор брел коридором, с шуршанием задевая обои.

«Летом так просто казаться влюбленным...»

Алиханов испытывал тихую радость. Он любовно перечеркнул два слова и написал:

«Летом... непросто казаться влюбленным...»

Жизнь стала податливой. Ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью – «Орион»...

– Летом непросто казаться влюбленным, – снова и снова повторял Алиханов...

В десять часов утра его разбудил сменщик. Он пришел с мороза, краснолицый и злой.

– Всю ночь по зоне бегал, как шестерка, – сказал он, – это – чистый театр... Кир, поножовщина, изолятор набит бакланьем...

Алиханов тоже достал сигарету и пригладил волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла в угол рецидивист Анаги, позвякивая наручниками...

– Обстановка напряженная, – говорил сменщик, раздеваясь. – Мой тебе совет – возьми Гаруна. Он на третьем блокпосту. Спокойнее, когда пес рядом...

– Это еще зачем? – спросил Алиханов.

– То есть как? Может, ты Анаги не боишься?

– Боюсь, – сказал Алиханов, – очень даже боюсь... Но все равно Гарун страшнее...

Накинув телогрейку, Алиханов пошел в столовую.

Повар Балодис выдал ему тарелку голубоватой овсяной каши. На краю желтело пятнышко растаявшего масла.

Надзиратель огляделся.

Выцветшие обои, линолеум, мокрые столы...

Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным стеблем. Сел лицом к окну. Вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь. Подумал о том, что ждет его впереди... И спокойная торжествующая улыбка преобразила его лицо.

Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны.

И казалось, чего-то ждал от него...

11 марта 1982 года. Нью-Йорк

Простите, что задержал очередную главу. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром, с шести и до восьми. Дальше – газета, радиостанция «Либерти»... Одна переписка чего стоит. Да еще – младенец... И так далее.

Развлечение у меня единственное – сигареты. Я научился курить под душем...

Однако вернемся к рукописи. Я говорил о том, как началась моя злосчастная литература.

В этой связи мне бы хотелось коснуться природы литературного творчества. (Я представляю себе вашу ироническую улыбку. Помните, вы говорили: «Серезжу мысли не интересуют...» Вообще, слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер. Тем не менее – буквально два слова.)

Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.

Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость.

Как в этой ситуации поступает деятель, революционер? Революционер делает попытки установить мировую гармонию. Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мичуринских результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно неотличимую от картофеля. В общем, создает новую человеческую породу. Известно, чем это кончается...

Что в этой ситуации предпринимает моралист? Он тоже пытается достичь гармонии. Только не в жизни, а в собственной душе. Путем самоусовершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию с равнодушием...

Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ею пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой.

Результаты этой деятельности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем ощутимее разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют...

Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня «Трубадуром отточенной банальности». Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны.

Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта.

Тысячу раз я слышал: «Главное в браке – общность духовных интересов».

Тысячу раз отвечал: «Путь к добродетели лежит через уродство».

Понадобилось двадцать лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность. Чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму.

В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин.

Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи. Скорее – наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку. А телесная доблесть нередко сопровождается внутренним бессилием.

Древние говорили:

«В здоровом теле – соответствующий дух!»

По-моему, это не так. Мне кажется, именно здоровые физически люди чаще бывают подвержены духовной слепоте. Именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия.

В охране я знал человека, который не испугался живого медведя. Зато любой начальственный окрик выводил его из равновесия.

Я сам был очень здоровым человеком. Мне ли не знать, что такое душевная слабость...

Вторая усвоенная мною истина еще банальнее. Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также – на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже – на мужчин и женщин.

Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. И в лагере – особенно.

Крупные хозяйственные деятели без следа растворяются в лагерной шухере. Лекторы общества «Знание» пополняют ряды стукачей. Инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркоманами. Расхитители государственного имущества пишут стихи. Боксеры-тяжеловесы превращаются в лагерных «душек» и разгуливают с накрашенными губами.

В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему или к худшему. От лучшего к худшему и наоборот.

Со времен Аристотеля человеческий мозг не изменился. Тем более не изменилось человеческое сознание.

А значит, нет прогресса. Есть – движение, в основе которого лежит неустойчивость.

Все это напоминает идею переселения душ... Только время я бы заменил пространством. Пространством меняющихся обстоятельств...

Как это поется:

«Был Якир героем, стал врагом народа...»

И еще – лагерь представляет собой довольно точную модель государства. Причем именно Советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата (то есть – режим), народ (заключенные), милиция (охрана). Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чему положено быть в государстве.

Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства.

То же происходит и в лагере. В этом плане лагерная охрана – типично советское учреждение...

Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, то все остальное – бесполезно?..

Посылаю вам очередные страницы. Будет минута, сообщите, что вы о них думаете.

У нас все по-прежнему. Мать в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык. Дочка презирает меня за то, что я не умею водить автомашину.

Только что звонил Моргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова.

Лена вам кланяется...

Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое – еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой. Поскольку живых евреев в Коми нет.

В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми. Но чаще всего там было пустынно и сыро.

Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации.

Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах...

Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви.

Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из ста человек в нашей казарме девяносто шесть томилось похотью. Остальные лежали в госпитале на Койне.

При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа.

Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучше хмурых девиц с торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки. Причем глаза их, казалось, были обращены внутрь...

Летом в казарму явился новый инструктор – Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханнисте, напоил его шартрезом и говорит:

– Ну, а барышни тут есть?

– И даже много, – заверил его Ханнисте, подрезая ногти штыком от автомата.

– Как это? – спросил инструктор.

– Солоха, Рая и восемь «дунок»...

– Сууре пярасельт! – воскликнул Густав. – Тут можно жить!

Солохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. «Дуньками» называют лагерных педерастов. Рая была медсестрой...

В санчасти было прохладно даже летом. На окнах покачивались белые марлевые занавески. Еще там стоял запах лекарств, неприятный для больных.

Инструктор был абсолютно здоров, но его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали в окна, надеясь, что Рая будет переодеваться. Они видели затылок Пахапиля и ругались матом.

Пахапиль трогал холодные щипчики и говорил об Эстонии. Вернее, о Таллинне, об игрушечном городе, о Мюнди-баре. Он рассказывал, что таллиннские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям.

Иногда Пахапиль добавлял:

«Настоящий эстонец должен жить в Канаде...»

Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым и даже осунулось. Он сказал: «Замолчать!» – и повалил Раю на койку.

В санчасти пахло больницей, и это многое упрощало. Пахапиль лежал на койке, обитой холодным дерматином. Он замерз и подтянул брюки.

Инструктор думал о своей подруге Хильде. Он видел, как Хильда идет мимо ратуши...

Рядом лежала медсестра, плоская, как слово на заборе. Пахапиль сказал:

– Ты разбила мне сердце...

Ночью он снова пришел. Когда он постучал, за дверью стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок.

На койке сидел безобразно расстегнутый ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу.

– Вольно! – сказал Фидель, придерживая брюки. – Вольно, говорю...

– Курат! – воскликнул Густав. – Падаль!

– Мамочки! – сказала Рая и добавила: – Выразаться не обязательно.

– Ах ты нерусский, – сказал Фидель.

– Сука! – произнес инструктор, заметив Раю.

– А что, если мне вас обоих жалко? – сказала Рая. – Что тогда?

– Чтобы все дохли! – сказал инструктор.

В коридоре громко запел дневальный:

...Сорок метров крепдешина,

Пудра, тушь, одеколон...

– Ваша жена может приезжать, – сказала Рая, – она такая интересная дама. Я видела фотку...

– Надо сейчас давать по морде! – крикнул инструктор.

Фидель носил баки. На плече его видна была татуировка: голая женщина и рядом слова: «Милэди, я завтра буду с вами!»

– Хромай отсюда, – сказал Фидель.

Пахапиль умел драться. С любой позиции он мог достать Фиделя. Его учил боксу сам Вольдемар Хансович Ней.

Фидель достал из эмалированной ванночки скальпель. Его глаза побелели.

– Пришел, – возмутилась Раиса, – и стоит как неродной. Скромнее надо быть. Ваша нация почище евреев. Те хоть не пьют...

– Кругом! – сказал Фидель.

– Подождал бы до завтра, – сказала Рая.

Пахапиль засмеялся и ушел досматривать телепередачу.

– Живет недалеко, – сказала Рая, – взяла бы да приехала. Тоже уж мне, генеральша...

– Одно слово – немцы, – покачал головой Фидель.

19 марта 1982 года. Нью-Йорк

Наш телефонный разговор был коротким и поспешным. И я не договорил. Так что вернемся к перу и бумаге.

Недавно я прочитал книгу – «Азеф». В ней рассказывается о головокружительной двойной игре Азефа. О его деятельности революционера и провокатора.

Как революционер он подготовил несколько успешных террористических актов. Как агент полиции выдал на расправу многих своих друзей.

Все это Азеф проделывал десятилетиями.

Ситуация кажется неправдоподобной. Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савинкова? Обвести вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской?

Я знаю, почему это стало возможным. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором – одновременно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.